

# ТАНЯ

У Тани была чистая кожа, копёшка пушистых волос и щедрая улыбка, от которой прищуривались глаза и получалось выражение, будто она совершенно всё понимает. Если добавить сюда моё одинокое существование, подчас изнурительную красоту Енисея и будни покоса, становится ясным, почему я так стремился в Селиваниху. Таню я увидел, когда приехал к тётке Наде пилить обещанные дрова. Пилил я под угором на песочке тёти-Надиной пилой. Стартер был без резиновой ручки, с примотанной вместо неё железячкой. Я ссадил ею палец, и когда заматывал его кусочком изоленты, неизвестно откуда возникла вдруг стройная девушка в ярко-синей майке. Увидев моё занятие и не дав возразить, она убежала и тут же вернулась с бинтом и пузырьком перекиси водорода. Вид у меня был не самый подходящий для знакомства: мокрый от пота чуб, засаленная куртка, сизые руки и полные опилок отвороты сапог. Я наблюдал за бирюзовым жучком, ползущим по её загорелому предплечью, а она старательно перевязывала мне палец, отфыркиваясь от комаров и болтая, как со старым знакомым. Пахло от неё какой-то ароматной комариной мазью.

Она пошутила насчёт моих рук, что-то вроде: «С такими руками только к женщине и подходить», и убежала по своим экспедиционным делам, а я допилил и поехал домой в Бахту. Когда я отпихивался от берега, на угоре появилась фигурка в синей майке и помахала рукой. Я не удержался и, отъезжая, заложил крутой вираж, вывернув из-под борта валик упругой воды с белым гребешком.

Пел за спиной мотор, нёсся мимо каменистый берег с островерхим ельником, светило солнце и всю дорогу в серебристых брызгах у кормы стояла, как приятное воспоминание, маленькая радуга.

На покосе я думал о Тане и грешил перед товарищами, желая дождя, чтоб отменились работы и можно было мчаться в Селиваниху допиливать дрова. Догадливые друзья посмеивались. Дождя всё не было. Мы поставили сено, взяли за силос. Запомнился последний день. Я стоял с вилами под зелёным душем в телеге, трясущейся за трактором, вдыхал пряный травяной ветер, и меня всего распирало от нетерпения, потому что назавтра начиналась свободная жизнь – ничего уже не маячило впереди, кроме охоты, и я ехал в Селиваниху.

Таня ещё спала, когда чисто-чисто пропел звук над Енисеем, когда застрекотала пила, выпустив синее облачко, и было поначалу неловко за этот шум, будто я пилю не лиственный кряж, а первую осеннюю тишину, ещё в виде пробы натянутую над полузаброшенной деревней.

Жилым выглядел только тёти-Надин дом с синими наличниками, крашеными охрой сенями и с выкошенной вокруг травой. Три брусовых дома, построенные экспедицией, стояли среди зарослей крапивы и иван-чая казёнными кубами. Заведя небольшой красный трактор, стоявший на бугре с поленом под колесом, и проезжая кухню, я увидел Таню. Она стояла на крыльце и поливала из ковшика пучок укропа. Я щегольски тормознул, вылез из кабины, поздоровался и спросил воды. Она протянула мне ковш, локтем отерев комара со лба, и, улыбнувшись, предложила пообедать. У меня всюду колотилось сердце, но я сдержанно ответил, что обедать мне шибко некогда, но что чаю попью, если угостят. В кухне никого не было, кроме нас с Таней.

Мы разговорились, Таня что-то спрашивала, об охоте, о моих друзьях, о Енисее. Умиляла городская неточность её речи. «Дрова, Таня, не рубят, а колют», – всё хотелось мне её исправить. И ещё очень хотелось вытереть локоть, который она испачкала в саже, возясь с печкой.

Потом, уже сидя в тракторе, я всё продолжал улыбаться, чувствуя, что не ошибся в своих предчувствиях, что, наконец, возникло между мной и этой почти незнакомой девушкой нечто необъяснимое, зыбкое, как те осинки в сизой струе выхлопа, но одновременно реальное и очень созвучное происходящему в природе и во мне. Я думал о том, как повезу это нечто вместе с капканами и прочей прозой на длинной деревянной лодке по притихшей сентябрьской Бахте и как славно будет вспоминать Танину улыбку, ёжась от ветра и правя в просвет расступающихся мысов.

Я сел на чурку и достал папиросу. Впереди лежало серебряное, в насечках ветерка, блюдо Енисея. На той стороне за тёмным забором ельника синела невыразимо осенней, глубокой синевой волнистая даль тайги. Всегда почему-то

кажется, что осень не возникает здесь, на месте, а именно приходит в виде какого-то голубоватого воздуха особого качества, в котором всё начинает желтеть, жухнуть, табуниться, а у человека, наряду с растущей физической бодростью, открывается вдруг родничок поразительной восприимчивости к природе. И хочется, покоряясь её тихой воле, взобраться на самый высокий яр, встать на колени, и глядя в морскую даль Енисея, благодарить небо за эту посланную Богом тоску, за каждый лист кривой берёзки, скоро потребовающей столько любви и прощения в своей нищете. И долго будет укладываться в душе поминальная, в желток с луком, пестрота берегов и огненная трещина в базальтово-серой туче, заложившей север, пока ранним утром глухой удар весла в тумане не поднимет на крыло первое стихотворение.

Глядя в глаза, на вытянутой руке, с каким-то плясовым шиком старинного гостеприимства поднесла мне тётя Надя стопку мутного спирта, протараторив: «На-ка, на-ка, на-ка, сла-Богу, всё вывез, спасибо тебе, рыбку закусывай...» – и я ещё раз порадовался бодрости этой маленькой старухи, не устающей окружать свою одинокую жизнь узором такой поэзии, которая никаким поэтам и не снилась. Вечно ей что-то чудилось, мерещилось... Как-то я строил ей новые сени и жил у неё. Был тоже август, но мы спали в пологах, всё не решаясь снять их. Перед сном тётя Надя долго устраивалась, зевала, а потом вдруг рассказывала про страшного приснившегося ей мужика с лицом, заросшим речной травой, которого она не испугалась, а спросила только, когда он вошёл: «Кто вы такие?», про эвенков, приехавших зимой на оленях с котом на верёвочке, про тайменя, такого большого, что когда его подтащили к лунке, она, будучи ещё девчонкой («папа зывой был»), подумала, что там «лосады», или уже совсем анекдот про знакомую из славящегося непролазной грязью Верхнеимбатска, якобы писавшую в письме: «Надя, я не могу в Имбатске зыть: у меня ноги короткие, я с мостков оборвусь и в грязь уйду». Говорилось всё это журчащим, полудетским голосом, задумчивым, как куриная песенка на склоне лета. Перед встречей с Таней мне приснилось, будто я украл из больницы фарфоровую кружку, и тётя Надя сказала, что, значит, будет мне «кака-то прибавка».

Когда после четвёртой стопки я понял, что уже не смогу не попросить у Тани адреса, тётя Надя вдруг, что-то вспомнив, вытащила из-за пупырчатого стекла буфета коробку и извлекла из неё жёлтую, вчетверо сложенную газетку с моими стихами... и через минуту я уже выбежал на крыльцо в раздувающийся ветер, в шорох травы и плеск Енисея, в музыку, плывущую с проходящей самоходки, не в силах удержать тёплую слякоть счастья в глазах и всё повторяя про себя четыре слова: «Моводец, Миса, хоросо составил!»

Адреса Таня не дала. Она посмотрела куда-то в сторону и сказала трезво-манерным голосом: «Зачем тебе адрес?» и ещё что-то добавила насчет флирта, который с ней «не пройдёт». Убитый наповал таким поворотом дела, словечком «флирт», так не шедшим ко всему окружающему, я спустился под угор, мусоля в кармане так и не понадобившийся карандаш и поехал домой. По серой волне, сжимая опостылевший штурвал с отбитой эмалью и спрашивая: «Ну, что ей стоило? Ведь я и не написал бы никогда»...

Обида на Таню постепенно прошла. Я даже убедил себя, что сам испортил всё своей жадностью – денёк-то действительно был редкий. Так вот живёшь-живёшь, увязая в заботах и ничего не замечая вокруг, и вдруг осенним днём, когда виден каждый куст на другом берегу и прохладные облака почти не дают тени, сдвинется что-то в мире, и сольются в один светлый ветер девичья улыбка, тёти-Надины драгоценные слова, плывущая над Енисеем музыка, и, просквозив душу, исчезнут, но уже навсегда ясно, что не что-то иное, а именно такие, изредка сходящиеся, створы и ведут тебя по жизни.